

ГАСАН ГУСЕЙНОВ

Политический платонизм в советской философии

На протяжении нескольких десятилетий многие верили, что слова о философах, которые прежде старались объяснить мир, а отныне будут его менять, и о философии, которая прежде ломала голову над смыслом сущего, а отныне будет занята изменением мира, сказал Карл Маркс. Но уже Маркс знал, что задолго до него и задолго до его философского предтечи Гегеля было на свете по меньшей мере три философа, которые не только ставили, но и по мере сил эту якобы новую задачу решали. Об одном из этих философов мне и хочется сказать. Правда, я буду говорить не вообще о Платоне, а об одном-единственном аспекте платонизма, который почти непосредственно связывает нас, сегодняшних, с самым интимным опытом греков и, осмелюсь предположить, может быть — пусть эскизно — представлен в самом сжатом виде.

Философ и политическое влияние на власть

Речь идет о проблеме практического влияния, которое философ может (или мог бы) оказывать на окружающую его социальную и политическую действительность. Сорок лет назад, в самый разгар левого молодежного движения в свободном мире и отчасти в тогдашнем Советском Союзе, кембриджский историк античности Моисей Финли (Moses Finley) опубликовал в журнале «Слушатель» замечательную статью, которая называлась «Платон и практическая политика»¹. Толковых вопросов, поднятых в этой статье, несколько: что думал средний афинянин о Платоне и о платонизме, о работе Академии; что следует думать нам самим о Платоне; думать не как о философе, занятом поискам истины, а как о человеке, чьи суждения оказывали влияние на практическую политику. В самом деле, ключевые представления об Афинах и афинской демократии, буквально пропитавшие все книги, на которых мы учились, так или иначе восходят к Платону — самому суровому крити-

¹ Более развернуто представлено в книге: *Finley Moses I. Aspects of antiquity: discoveries and controversies.* Harmondsworth: Penguin, 1972.

ку этой демократии. 1960-е гг. не случайно оказались временем уничтожающей критики «платонизма» в политике. Непревзойденным мастером такой критики был, конечно, Карл Поппер. Почему размышления на полях дискуссии сорокалетней давности могут быть полезны сегодня? Потому что в те же 1960-е гг. у нас в стране, в тогдашнем Советском Союзе, отношение к Платону и платонизму было иным. На русской почве в советском ее изводе Платон и политический «платонизм» парадоксально казались одним из цветов вольной мировой культуры. Платон рисовался философской личностью, возвышенной, богатой, интеллектуально и эмоционально щедрой, снимающей в своем философском творчестве все и всяческие противоречия. Если воспользоваться уместными в данном случае марциальными метафорами, то на всех гуманитарных фронтах — от литературного до гносеологического — платонизм истории идей и сократического диалога, философской школы и попыток наставить на путь истинный сицилийского тирана Дионисия — этот платонизм, по контрасту с официальной идеологией, не мог не казаться душистым левкоем, чудом, выросшим из кирзового сапога марксизма-ленинизма. Московская оптика не оставляла места в общественном дискурсе занудам-ботаникам, которые блеяли что-то о принципиальном несходстве этого левкоя и, скажем, гвоздики, которую воткнул в ствол своего карабина братавшийся с народом солдат португальского диктатора Салазара.

Мишень критики — афинская демократия

Что же было в интересующем нас сегменте платонизма — сегменте политическом — такого, что делало всю его бескомпромиссную критику демократии как таковой если и имеющей силу, то не имеющей особого значения? Конечно, не только двусмысленность (или, как тогда говорили, диалектичность) самой тогдашней официальной идеологии. Лисий, Платон, Аристофан, Ксенофонт — да это же пир и для гурмана, и для невежды, который хочет посмеяться над родовыми свойствами афинской демократии-охлократии.

Советский читатель 60–70-х годов оказался перекормлен амбивалентностью своих платонизмов. В платоновской теории идей его умоляли видеть немножечко материализма, в теории государства он оказывался немножечко предтечей теории социальных формаций. Как жертва рабовладельческого строя Платон иной раз мистическим образом представал немножечко критиком так называемого буржуазного индивидуализма и предтечей той теории государства и права, картины практической реализации коей людям моего поколения являли фоторепортажи западных журналов из Кампучии Пола Пота. Как сказал бы Сократ, доживи он до наших дней, клянусь псом, а не надо было столько писать: и в «Государстве», и в «Законах» десятки страниц обоснования практики внеполитических репрессий от Ленина и Гитлера до Пола Пота

и Мао. Парадоксальным образом этот философско-исторический про­теизм нечувствительно делал из Платона универсального критика суще­ствовавшего порядка вещей. В «Государство», а особенно в «Законы», вчитывался ернический подтекст. Читатель в поисках подтекста прину­дительно находил там, где Платон глумится над демократией, ирониче­ское обнажение гнилостного нутра... деспотии.

М. Л. Гаспаров писал о С. С. Аверинцеве, что тот

точно знал во всякий момент, говорит ли он как человек мыслящий, с доказательствами, или как человек чувствующий, с убеждением. В пуб­личных выступлениях оно терялось. Его аудитория, утомленная поздне­советской догматичностью, пленялась иррациональной одушевленно­стью и пропускала мимо слуха рациональную строгость. Его глубочай­шее уважение к европейскому рационализму, родившемуся из риторики, не находило отклика у читателей и слушателей. Спрос был не на Аристо­теля, а на Платона. Аверинцев очень много сделал для русского Платона: он перевел «Тимея». Но в последние годы он говорил: «Меня огорчает нынешняя мода на Платона, тем более что я сам отчасти был ее пособ­ником. Поэтому мне все больше хочется написать апологию Аристотеля. Платон современен, а Аристотель актуален.

И писал: «Теория слишком долго была поглощена тем, чтобы объяс­нить для образованного любителя почитавшееся самым непонятным — архаику и авангард. Похоже, что мы дожили до времен, когда Вергилий и Рафаэль стали непонятнее того и другого, а потому более нуждаются в объяснениях»².

Дихотомия «рациональные доказательства» *versus* «иррациональная одушевленность» определяет, однако, не только восприятие аудито­рии, «утомленной позднесоветской догматичностью», но и сам интел­лектуальный метод Аверинцева. В статье 1973 г. (вышедшей только в 1979 г.)³, когда в СССР официально, хотя и только в академических кругах, отметили 2400 лет со дня рождения Платона, Аверинцев пишет о «сферичности» мысли Платона, в которой все противоречия снима­ются. С одной стороны, это понимание духовной атмосферы, в кото­рой жил Платон, как абсолютного интеллектуального совершенства. С другой стороны, это — скрытый ответ главному русскому неоплатони­ку и знатоку Платона — Алексею Федоровичу Лосеву, который и в предис­ловии к сборнику 1973–1979 гг.⁴, и в соответствующих томах «Истории античной эстетики» раскрывает логический инструментарий Плато-

² Гаспаров М. Л. Памяти Сергея Аверинцева // Новый мир. 2004. № 6; цит. по: <http://www.ruthenia.ru/document/533013.html> (по состоянию на март 2011 г.).

³ Аверинцев С. С. Неоплатонизм перед лицом Платоновой критики мифопоэтическо­го мышления / Платон и его эпоха. К 2400-летию со дня рождения. М.: Наука, 1979. С. 58–82.

⁴ Лосев А. Ф. Платоновский объективный идеализм и его трагическая судьба / Платон и его эпоха. К 2400-летию со дня рождения. М.: Наука, 1979. С. 9–57.

новой радикальной критики демократии, даже, точнее говоря, показывает логическое оружие уничтожения демократии как способа предотвратить разложение общества. Лосев смотрит на «сферический платонизм» из точки, в которой идеализм Платона — это лишь тонкий покров стихийного античного материализма, «внеисторического, внеличного, негибкого, бездушного, жизненно не заостренного и осуществляемого только в мировом круговороте небесного свода, в космическом круговороте душ и тел и в метеорологическом круговороте вещества в природе». «Могли ли такого рода идеи быть удобным и достаточно эффективным инструментом для общественно-политических преобразований?»⁵ При желании в такие антиплатоновские пассажи А. Ф. Лосева можно было вчитать скрытую критику существовавшего советского режима. Это сейчас легко сделать вид, что ты жил вне этой парадигмы, но в 1970–1980-е гг. именно она определяла, по крайней мере, градус восприятия античных аллюзий на современность.

В отличие от предельно серьезного Лосева Аверинцев видит в платонизме «интеллектуальное коварство», а в «трагедии» философа не жизненную трагедию и даже не житейскую драму, а (только) трагедию мысли. Аверинцев применяет стилистически безупречный способ не прямой защиты Платона заодно и от либеральной критики в духе Поппера и его последователей. Предлагая русскому читателю удобный подступ к Платону как бы по знакомству, Аверинцев инкрустирует свою аргументацию советскими интеллигентскими клише: «Не раз можно вспомнить, читая его, слова Дмитрия Карамазова: „Широк человек, слишком даже широк, я бы сузил“ ... Поистине, у него, как в Греции, по уверению одного чеховского персонажа, „все есть“ ...»⁶ Здесь — ироническое прощание с давней русской литературной традицией, которая началась с Любомиров и славянофилов и подошла к концу с завершением советского периода русской истории. Вот как описывает свою встречу с Платоном В. Ф. Одоевский:

Продолжительное чтение Платона привело меня к мысли, что если задача жизни еще не решена человечеством, то потому только, что люди не вполне понимают друг друга, что язык наш не передает вполне наших идей, так что слушающий никогда не слышит всего того, что ему говорят, а или больше, или меньше, или влево, или вправо. Отсюда вытекало убеждение в необходимости и даже в возможности привести все философские мнения к одному знаменателю. Юношеской самонадеянности представлялось доступным исследовать каждую философскую систему порознь (в виде философского словаря), выразить ее строгими, однажды навсегда принятыми, как в математике, формулами и потом все эти системы свести в огромную драму, где бы действующими лицами были

⁵ Лосев А. Ф. Указ. соч. С. 49.

⁶ Аверинцев С. С. Указ. соч. С. 92.

все философы мира от элеатов до Шеллинга, или, лучше сказать, их учения, а предметом, или, вернее, основным анекдотом, была бы ни более ни менее как задача человеческой жизни⁷.

Однако чем больше русские философы говорили о «жизни», «жизненной драме» и тому подобных вещах, тем дальше они уходили от непосредственной политической действительности платонизма в «эсхатологическую метафизику» (Бердяев).

Но попробуем вернуться к жизненной драме Платона.

Между казнями Крития и Сократа

Казалось, как станут потом говорить, однозначным, а точнее было бы сказать — общезначимым, отношение к истокам первого политического кризиса, пережитого Платоном, — казни в 399 г. до н. э. Сократа. Это событие — казнь философа в форме принуждения к самоубийству по приговору демократического судебного органа — оказалось и легитимацией, и потрясающим прикрытием для антидемократической риторики Платона. Платону чужды и даже отвратительны социально-политические установки Сократа, заложника афинской демократии и ее ценностей. Но Сократ нужен ему как символ и бренд, вот почему главное в дальнейшем развитии политического платонизма — это расширение трещины между представлениями о гражданском долге и морали демократического полиса у Платона и у его учителя.

Платон родился около 430 г., еще при жизни поколения, для которого Греко-персидская война была еще их собственной реальностью. А мыслилась она как война демократических Афин против деспотического персидского царства. А всего через четверть века после смерти Платона, в 322 г., афинская демократия прекратит свое существование под авторитарными сандалетами солдат Антипатра.

И с этого момента Европе, да и всему Западному миру, пришлось ждать две тысячи лет, прежде чем в США и во Франции начнет функционировать, пусть с кратковременными сбоями и вывихами, демократическая система правления⁸. В основе этой системы лежали народное (местное) самоуправление и выборные политические институты, поддержка которых является обязательством гражданского общества и каждого гражданина. Это та самая система правления, а точнее — система организации политической жизни, умеренным критиком которой Платон был в молодости и жестким противником стал в зрелые и поздние годы.

Чисто академический, на первый взгляд, вопрос о взаимодействии платонизма и афинской демократии с конца V до середины IV в. стано-

⁷ Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л., 1975. С. 191–192.

⁸ См. подробнее: *Finley M.* Op. cit. P. 76.

вится ключевым для политического языка любого поколения, ориентирующегося на карте мира по Восточному Средиземноморью, а на шкале времен — по оси, ведущей от разрушения Трои и основания Рима через рождение младенца в Вифлееме к нашим дням.

Учителя и ученики

Платону была подарена не только долгая жизнь, но и потрясающая возможность прожить ее, наблюдая совершенно разные политические системы и пытаясь оказать на них сильное влияние. Помимо самих Афин это, как известно, Мегара, возможно, Египет и, определенно, греческий город Сиракузы. Изучая философию Платона, приятнее заниматься им как хронистом интеллектуальных упражнений Сократа с юношеством. Яркая пара учитель—ученик, Аристотель—Александр Великий, —тоже отличная ширма, из-за которой связка Платон—Дионисий кажется куда более тусклой. Между тем именно она не только подчеркивает актуальность политического платонизма, но заставляет иначе смотреть на конфликт социальной теории Платона и современных ему демократических Афин.

Платон и Сиракузы Дионисия Старшего

Под контроль тогда 25-летнего Дионисия, ровесника Платона, Сиракузы попали за несколько лет до того, как в Афинах был казнен Сократ. У власти на Сицилии этот хрестоматийный тиран оставался до 367 г. Власть же эта держалась на разбое и зверствах в центральном Средиземноморье. Разумеется, он смертельно боялся заговора. Плутарх замечательно описывает, как сначала бороду ему брили дочери, а потом он просто перешел на депилятории, лишь бы не подпускать к себе брадобрея. Чтение жизнеописаний полководцев и других убийц вообще заставляет усомниться в равноправии Муз: биографии Платона, даже отдаленно напоминающей по детальности биографию Дионисия, не найти. Мало того, если к фактам из жизни сиракузского тирана, которые мы находим у Плутарха, принято относиться с доверием, то единственный источник, выдающий тесный контакт Платона с Сиракузами, — это письма под номерами 7 и 8, подлинность которых оспаривается. Основанием для скептицизма выступают иногда смехотворные аргументы, такие, например, как наличие в этих документах позднего Платона идей и мотивов, которые были характерны для предшествующего этапа его философствования. Не совсем понятно также, зачем Платону спустя десять лет после смерти Сократа, в начале 80-х гг. IV в., захотелось отправиться в Сиракузы, если он сам описал в «Государстве», что такого правителя, как Дионисий, ожидает незавидная участь: «Пасть жертвой врагов или захватить абсолютную власть и превратиться из человека в волка».

Официальной целью первой поездки на Сицилию было желание Платона поближе познакомиться с учением пифагорейцев. На самом деле, похоже, его интересовала все же дрессировка волка. Дионисий был, что называется, колоритной личностью, в один день заключил два брака: один — с уроженкой Сиракуз, другой — с девушкой из Великой Греции, из города Локры. Почти одновременное появление на свет потомства обеспечило известное напряжение в процедуре перехода власти от отца к сыну. Как бы то ни было, во время первой поездки на Сицилию Платон знакомится с сиракузским шурином Дионисия Старшего, Дионом, тогда, в 387 г., молодым еще человеком.

Двадцать лет спустя Платон приедет в Сиракузы снова, на этот раз уже после смерти Дионисия Старшего, в попытке возобновить попытку превращения тирании в просвещенную монархию, где ему самому отводилась бы роль если не философа на троне, то, во всяком случае, учителя философствующего монарха. Попытка срывается, Платон возвращается в Грецию, а в 354 г. и Дион пал жертвой заговора Дионисия Младшего, сына «другой» жены тирана. Предполагается, что Диона казнили по обвинению в шпионаже в пользу извечного врага Сиракуз — Карфагена.

Согласно легенде, Платон вскоре после убийства Диона получил от сторонников того письмо с вопросом, как им быть дальше. В ответ Платон и написал нечто поистине странное. Сперва он высказывается о достоинствах самого Диона, в том числе и о том, как много смог бы тот сделать, если б только остался в живых. Платон дает совет ни в коем случае не возобновлять в Сиракузах демократической формы правления. Письмо заканчивается крупным философским фрагментом, который сиракузяне не поняли. Жители Сиракуз прислали новое письмо с уточняющими вопросами. Письмо Платона под номером 8 еще интереснее. Платон, очевидно, зная, что Сиракузы живут в обстановке гражданской войны, предлагает примирение всех тяжущихся сторон, а именно создание триумvirата, в который входили бы оба сына Старшего Дионисия и сын Диона. Кроме того, предлагалось учредить коллегия из 35 стражей законов.

Еще один пункт письма Платона заслуживает внимания. Это упоминание о его первой поездке в Сиракузы, когда тираном был Дионисий Старший. Платон пишет о неудовлетворительном состоянии дел в городе. Как сказал бы читатель Плутарха: «Еще бы, при таком-то головорезе». Но ничуть не бывало! Платон находит нужным обвинить сиракузян в том, что те слишком страстно предаются чревоугодию и радостям половой жизни. Что же касается Диона, о котором ранее говорилось, что после первой встречи с Платоном он испытал необычайную тягу к духовному, то в последние годы правления Дионисия Старшего этот политик стяжал немалые богатства, часть которых, возможно, составила из денег заклятого врага Сиракуз — Карфагена.

Подлинность писем Платона оспаривалась по двум причинам: во-первых, просто обидно за Платона-политика. Во-вторых, если авто-

ром писем был не сам Платон, то, по крайней мере, кто-то, кто хотел спасти репутацию Академии и его главы, которые запятнали себя связями с обоими Дионисиями — Старшим и Младшим. Вот почему если эти письма и подделка, то подделка очень старая. Да, большинство собственно греческих комментаторов афинской жизни и позднейших исследователей рисуют жизнь в Афинах в интересующую нас эпоху как век разложения, всеобщей продажности, распутства и т. д. Но демократия ли была виновата в этом?

Критий — философ на троне?

Главный козырь критиков Афинского государства — казнь Сократа, но лучше бы они вспомнили о событиях пятилетней давности, о тех временах, когда власть в Афинах победители-спартанцы на короткое время передали так называемым Тридцати тиранам. Один из них, старший современник Платона Критий, был учеником Сократа и родственником Платона. Правление Тридцати продолжалось всего несколько месяцев 404 г. до н. э. Первым делом была уничтожена оппозиция, затем олигархи резко сузили круг полноправных граждан. Они без суда конфисковали имущество своих уничтоженных противников. Парламентская жизнь была сведена к нулю. Критий и стал тем самым волком, превращения в которого сицилийского тирана так опасался философ в Сиракузах. Может быть, после краха правительства Тридцати, разгромленного самими афинянами, Платон решил повторить ту программу, что свела в могилу Крития, и на Сицилии? Такому предположению, во всяком случае, не откажешь в логике. Ведь мы знаем о глубокой и последовательной критике им всех недостатков демократического правления. О демократии Платон до конца своих дней думал, что она не отвечает ценностям и нормам, которые философ считал неотъемлемыми для государства. С точки зрения Платона, государство должно стремиться к совершенству и быть коллективным воспитателем несмышленного народа. Но трижды на его памяти — в Афинах и в Сиракузах — правление лучших, диктатура специалистов и просвещенная монархия, сворачивали в кровавую клоаку.

Человек и государство

Почему же красиво звучавшие вещи, столетиями воспринимаемые как аксиомы, за время, отсчитываемое от Сократа и вплоть до наших дней, приводили только к обратным результатам? Либеральные западные мыслители отвечали на этот вопрос в 1960-е гг.: государство не школа, не воспитательная колония, не учитель этики. Самоуправляемые сообщества обыкновенных людей имеют дело с человеком, какой он есть. А для Платона человек — это жертва утраты целостности. Вот почему политический платонизм превращается в учение об исправлении

рода человеческого как не вполне удачного эксперимента богов. Площадка для эксперимента и расчищена для инициативных философов и правителей.

Нужно уточнить, что русская философская традиция советской эпохи, с ее холистским взглядом на Платона как искусника по снятию всех и всяческих противоречий, не очень верила диалогической форме представления платонизма. Даже в популярной теории диалога у Бахтина имелась специальная оговорка, разъясняющая, что жанр Платона называется «диалогом» только формально, а на самом-то деле Платон — философ монологический⁹. Бахтин не привел в пользу своего мнения никаких аргументов, предложив верить ему на слово. Между тем в последние годы появилось несколько книг, в которых как раз литературная форма диалога анализируется как драма отношений Платона и Сократа¹⁰. В своей недавней рецензии на книгу Беттани Хьюз¹¹ Пол Джонсон, сам автор, возможно, лучшей из написанных во второй половине XX в. биографий Сократа, рассказывает, как в один прекрасный день понял, что из попыток установить, где мы слышим голос Сократа, а где его перебивает Платон, возникает некий мутный третий персонаж, самый неприятный в сократических диалогах, которого Джонсон называет Платоком. Он-то часто и подменяет в воображении читателя и Платона, и Сократа¹². Чтобы не думать о Платоне как о ренегате и даже предателе своего учителя-экзистенциалиста, читателю удобнее представлять себе автора сократических диалогов интегратором самых разнородных идей, вполне авторитарным мыслителем, или мыслителем авторитарной эпохи в духе М. М. Бахтина, А. Ф. Лосева или С. С. Аверинцева.

Целостный облик против критического анализа

Живое стремление сохранить так называемый целостный облик философа и писателя дезориентировали читателя второй половины прошлого века. 1960-е гг. и оказались своеобразным водоразделом в отношении к политическому платонизму. Парадокс, пожалуй, только в том,

⁹ У Платона, считает Бахтин, «множественность голосов погашается в идее». «Идея мыслится Платоном не как событие, а как бытие. Быть причастным идее — значит быть причастным ее бытию. Но все иерархические взаимоотношения между познающими людьми, создаваемые различной степенью их причастности идее, в конце концов погашаются в полноте самой идеи. Самое сопоставление диалогов Достоевского с диалогом Платона кажется нам вообще несущественным и непродуктивным, ибо диалог Достоевского вовсе не чисто познавательный, философский диалог». *Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского*. Ч. 2. Гл. 4 (диалог у Достоевского).

¹⁰ *The Philosophy of Socrates: a collection of critical essays* / Ed. by G. Vlastos. Notre Dame (Ind.), 1980; и особенно его книга: *Vlastos G. Socrates, Ironist and Moral Philosopher*. Ithaca: Cornell UP, 1991.

¹¹ *Hughes Bettany. The hemlock cup: Socrates, Athens and the search for the good life*. London: Cape, 2010.

¹² *Johnson P. Above the clouds* // *Times Literary Supplement*. 2010. December 17. P. 25.

что мало где в мире сочинения Платона выходили такими большими тиражами в видах массового просвещения, как в СССР в 1960–1970-е гг. Но проходили они по разряду «культурного наследия», которое полагалось проглатывать «целиком», не особенно разжевывая. Комментарии к Платону оставались уделом немногих специалистов, в общественных дискуссиях «платонизма» не было ни слышно, ни видно. Такое отношение распространялось и на античность вообще. Его можно считать очередным воплощением мифологемы «золотого века»: античность-де — это эпоха «недостижимых образцов мысли и творчества». Чем глубже мы постигаем ее в самых совершенных ее образцах, говорят нам, тем крепче мы стоим на ногах. «Античное наследие» — это мифологема утраченной ценности; а оптика мифа препятствует критическому анализу.

Мифологема утраченной целостности мучает и Платона. Антропология величайшего из греческих философов строится на тождестве мысли и жизни. На тождестве мысли о человеке и жизненной природы человека. Все греческие антропологические мифы — от платоновских круглых людей, лишенных богами первичной гармоничной целостности («Пир»), до воинов, выросших из посеянных зубов дракона, — живут неразрешимым конфликтом. Пестрота самоуправляемой социальности не хочет подчиняться конструктору идеального государства, которое призвано воспитывать своих граждан, кнутом подгоняя тех к идеалу.

Если бы Платон был только радикальным критиком существовавшего в Афинах демократического устройства, в этом не было бы никакой беды. В большинстве критических выпадов против несуразностей афинского самоуправления, которые Платон вкладывает в уста Сократа, есть резон. Собственно, задача философа и состоит в радикальной критике ценностей, норм и институтов. Совсем другое дело, когда философ совершает прыжок от критического анализа политического устройства к политическому консалтингу. А политический платонизм и состоял в таком консалтинге.

У Сократа было много учеников. От Крития, оратора, поэта и философа, дошли не литературные сочинения, а только память о его кровавых преступлениях и гибели в бесчестии. К счастью, Платону (и нам, его читателям) повезло гораздо больше. Западный леволиберальный мейнстрим, критически сопоставив в 1960-х гг. философскую теорию и политическую практику Платона, обнажил механизм превращения политической философии в служанку деспотии. Нужно ли напоминать о судьбе Аристотеля — ученика Платона и наставника Александра, далеко обогнавшего по части террора Крития!

Этот критический контекст лучше всего объясняет, как получилось, что советская директивная культурная политика заставляла в 1960–1970-х гг. глотать целостного Платона как «непревзойденное творческое наследие», успешно игнорируя западную леволиберальную критику политического платонизма.